

**THE
NEW REVIEW**
Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Тридцатый год издания

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Секретарь Редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, June 1971
Quarterly, No. 103
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$15. — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York N.Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

<i>Вячеслав Иванов</i> — Стих о земном Рае	5
<i>Ирина Одоевцева</i> — На берегах Сены	6
<i>Олег Ильинский</i> — Стихи	20
<i>В. Шаламов</i> — Две встречи. Безымянная кошка	21
<i>Н. Моршен</i> — Стихи	31
<i>Н. Ильинская</i> — Птица голубая	33
<i>Ольга Анстей</i> — Стихи	55
<i>В. Вейдле</i> — О поэтической речи	57
<i>Даниил Хармс</i> — Падение вод	74
<i>Георгий Адамович</i> — Оправдание черновиков	76
<i>Л. Алексеева</i> — Стихи	90
<i>И. Одоевцева</i> — Стихи	91
<i>Глеб Струве</i> — Кто был пушкинский «полонофил»?	92
<i>Игорь Чиннов</i> — Стихи	107
<i>Юрий Иваск</i> — Христианская поэзия Мандельштама	109
<i>Глеб Глинка</i> — Стихи	124

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>К. Бугаева</i> — Андрей Белый на Кавказе	125
<i>Н. Рахманинова</i> — С. В. Рахманинов	137
<i>В. Поздняков</i> — М. А. Зыков	153
<i>И. Ильин</i> — На службе в сов. разведке в тылу у японцев .	169
<i>Д. Шуб</i> — Из давних лет	187

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Вл. Ильин</i> — Эпоха низости	201
<i>А. Авторханов</i> — Ленин и ЦК	214
<i>Н. Градобоев</i> — КПСС после съезда	224
<i>А. Иванов</i> — Раздумья над новой пятилеткой	242
<i>Ю. Марголин</i> — Письмо к молодым друзьям	254
<i>Н. Туров</i> — Мои встречи с Н. В. Крыленко	264

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

<i>Неизданное письмо Ленина</i>	276
<i>И. М. Бергер</i> — Е. Д. Стасова	280
<i>Собрание сочинений Вяч. Иванова</i>	288

БИБЛИОГРАФИЯ: Т. Сорокина — Записки Р. А. Г. в США, т. 4.

<i>О. Ильинский</i> — Д. Кленовский. Почерком поэта. <i>Е. Климов</i> — Г. Вагнер. Скульптура в Древней Руси. <i>Игум. Геннадий</i> — <i>Bolesław Gawecki. Filozofia rozwoju. Книги для отзыва</i>	289
--	-----

ХРИСТИАНСКАЯ ПОЭЗИЯ МАНДЕЛЬШТАМА

1. РАДОСТНОЕ БОГООБЩЕНИЕ

Христианское кредо Мандельштама изложено в его очерке «Пушкин и Скрябин», что подтверждает и его вдова Надежда Яковлевна, которой удалось разыскать и сохранить разрозненные листки этого доклада, прочитанного Осипом Эмильевичем незадолго до революции, в Петрограде («Воспоминания», 1970). Некоторые тезисы: Христос искупил грехи мира вольной жертвой и христианское искусство уже не жертва, не искупление, а «свободное и радостное подражание Христу (...)». Радостное богообщение, как бы игра Отца с детьми, жмурки и прятки Духа». Это пасхальное исповедание христианства, едва намеченное в том наброске, было позднее полностью раскрыто в поэзии Мандельштама.

Как он пришел к христианству? Осип Эмильевич родился в еврейской семье. В очерке «Хаос Иудейский» Мандельштам вспоминает, как в детстве его раза два возили в синагогу и оттуда он возвращался в «тяжелом чаду». В Риге правоверный дед накинул на него черно-желтый плат, пишет он в том же очерке, «и заставил повторять за собою слова, составленные из незнакомых шумов. Мне стало душно и страшно. Не помню, как на выручку подросла мать». Но званием еврея он всегда гордился.

Н. Я. вспоминает: Мандельштам побаивался ветхозаветного Иегову, его тоталитарной власти, и утверждал, что христианство учением о Троичности преодолело единовластие иудейского Бога, и далее от себя добавляет: «Естественно, что мы страшились единовластия» (в то время, конечно, сталинского).

Нет достоверных данных о будто бы чисто формальном

переходе Мандельштама в лютеранство, но, несомненно, он был христианином по духу и называл себя «последним христианско-эллиническим поэтом в России». *Эллиническим*, — ибо ему была близка Эллада, и языческая, и поздняя, «оплодотворенная христианством», но ощущал он и иудейские корни Нового Завета (Ветхозаветный дым на теплых алтарях... в стихах об Исаакиевском соборе).

В ранних религиозных мотивах поэзии Мандельштама немало эстетики и историзма. Его восхищал исторический размах христианства — прекрасные соборы Софии и Петра, а в протестантизме — пленяла баховская музыка. Одновременно он увлекался и античностью, как эллинской так и римской. Не пренебрегал он и современностью (писал о теннисе, кинематографе). Но юношеское стихотворение 1912 г. «Образ твой...» — религиозно, и напоминает молитву, хотя бы и случайно произнесенную:

«Господи!» — сказал я по ошибке,
 Сам того не думая сказать.
 Божье имя, как большая птица,
 Вылетело из моей груди...

В сборнике «Камень» Мандельштама, пожалуй, больше привлекало католичество, хотя он и отдал дань восхищения византийской Айя-Софии и отозвался стихами на афонский мятеж монахов-имябожцев. По отзыву Н. Я. — Мандельштам в юности мечтал о каком-то органическом и иерархическом социальном строе, а в школьные годы увлекался и католичеством и марксизмом. Наконец, по ее же воспоминаниям, в 1919 г. ему мерещилась теократия, как лучшая форма правления. Но существеннее не эти свидетельства, а его стихи. В лирическом комментарии «К энциклике папы Бенедикта XV» он сказал: Орлиным зреньем, дивным слухом / Священник римский уцелел (сентябрь 1914 г.).

В 1918 г., прославляя «сумерки свободы», Мандельштам призывал: Ну, что ж, попробуем огромный неуклюжий / Скрипучий поворот руля. А в 20-х г.г. Мандельштама соблазнял и коммунизм, даже партийный (церковь без Бога) и, по словам Н. Я., он говорил, что его «присяга чудная четвертому словью» обязывает его к примирению с советской действительностью, но — *без смертной казни*. А казни множились,

строительство основывалось на рабском труде, и к началу 30-х г.г. (а может быть и раньше) у Мандельштама уже не было никаких иллюзий: он отшатнулся от новой Ассирии, от сталинского СССР и смело осудил диктатора.

В сборнике “Tristia” также немало эстетики и историзма, но больше лирики, больше нежности, а не ее «сестры» — тяжести. Напр., в стихах о кремлевских соборах «с их итальянскою и русскою душой». Прославлены они и в другом стихотворении: О, этот воздух, смутой пьяный ...А ставка, неуверенная ставка на советское строительство, не означала для него отречения от христианства. Так, в очерке «Слово и культура» (1921 г.), он писал: «...теперь всякий культурный человек — христианин». Но, повторяю, существеннее его поэзия. Провозглашенное им радостное богообщение понято-пережито им в стихотворении о Сиене:

И с христианских гор в пространстве изумленном,
Как Палестины весть, нисходит благодать.

Христианской радостью одушевлено и это стихотворение (1920 г.).

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе — великолепный миг,
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взять в руки целый мир, как яблоко простое.

Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.

И Евхаристия как вечный полдень длится —
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

Звучание. Во всех строфах слышится рокот Р и звон З, а также родственных им Л и С. Немало и внутренних созвучий: дароносица-солнце, прозвучать-взять, круглой-куполе, храмине-времени-луговине или полдень-длится. Плавные и свистящие в этом контексте выражают радость, веселие, и отзываются

ся в церковных словах: дароносица, богослужение, храмина, евхаристия, причащаются, божественный сосуд (в последней строфе «подпевают» и шипящие). Вообще же звукопись у Мандельштама (без проверки, на слух) не так бросается «в уши», как у Маяковского, Цветаевой, Пастернака. Его звуковые повторы хорошо слышимы, но не навязчивы, как и у Пушкина.

Размер — шестистопный ямб с цезурой после третьей стопы. Метр этот культивировался в 18-м веке, в особенности, в трагедиях — с парными рифмами (в подражание французскому александрийскому стиху), но по структуре он ближе к немецкому силлабо-тоническому ладу и впервые встречается у Ломоносова. У Пушкина этим размером написан, напр. «Памятник» и его *прощальное* стихотворение: Когда за городом задумчив я брожу... В 20-м в. ямбические гекзаметры встречаются нечасто, но у Мандельштама их немало в стихах обоих его первых сборников: “Notre Dame”, «Адмиралтейство», ««Европа», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса», «В разногласии девического хора», «Соломинка», «Декабрист», «В хрустальном омуте какая крутизна», «Когда Психея-жизнь спускается к теням», «Я слово позабыл, что я хотел сказать», а также и в других, иногда с чередованием четырехстопных ямбов. Рифмы — опоясывающие, что редко бывает в этом размере. Запев этого метра, замедленный цезурой — очень торжественный, но не монотонный.

Язык — отборный, отвлеченный, «важный», как сказали бы в 18-м веке, и отдаленно сродни одописцам той эпохи. Неправильно наложена опала / На автора возвышенных стихов... писал Мандельштам, и сам бывал иногда «возвышен». Нет «прозаических» сравнений, как в стихах об Исаакии, тоже торжественных: там соборы Софии и Петра отождествляются с амбарами, ригами. Вообще — образность здесь «бедная»: дароносица как солнце, мир — яблоко простое, Евхаристия как вечный полдень. Самое вещное слово в этом стихотворении: яблоко. Яблочко (песня) было уже в его стихах о Федосии. Больше яблок в позднейших стихах, напр., в этой трижды повторенной строке: Два сонных яблока у века-властелина... (1924 г.). А солнца и всего *золотого* у Мандельштама всегда было вдоволь.

«Пиши безобразные стихи», призывал он (в статье «Сло-

во и культура», 1921 г.). Это стихотворение — почти «безобразное» (по сравнению со многими другими его стихами). Но есть в нем (как Мандельштам писал в той же статье) — внутренний образ: это совершающееся Таинство *и оно явно в метафорах не нуждается*. Да и раньше он писал прекрасные безобразные стихи, напр.: Только детские книги читать... (1908 г.).

Один православный священник-богослов сказал мне, что в этом стихотворении изумительно верно раскрывается литургическое Таинство, которое совершается в какой-то определенный момент, но и вне времени. Правда, некоторых православных недотёп здесь кое-что смущает: Все причащаются, играют и поют... Почему *играют*? Спрашивают они. В церкви играть не полагается... Но это и есть радостное богообщение, о котором еще прежде писал Мандельштам и, что существеннее, оно действительно выражает пасхальную радость православия. Если есть это «неисчерпаемое веселие», то можно играть с Отцом... Играют и православные, напр., катают яйца, хотя и не в храме. А в 4-м в., во время крестных ходов, христиане плясали и в церковных стенах (или садах). Но Терпсихора была осуждена Отцами церкви и поржала преимущественно в подполье, напр., у радеющих «Божиих людей» — хлыстов. Правда, пляски допускаются в ефиопской церкви, иногда у католиков (в Испании), в Америке у «шэкеров» (трясунов), и в некоторых американских протестантских храмах теперь. И уже конечно, можно в церкви *взыграть духом*, что, вероятно, и имел в виду Мандельштам.

Здесь должен прозвучать лишь греческий язык...

Я уже говорил об эллинофильстве Мандельштама. Эллинское в христианстве было для него существеннее всего иудейского, римского или чего-нибудь другого, нового. Он, конечно, знал, что православное богослужение — создание эллинского гения. Может быть, он также связывал евхаристическое откровение вечности с эллинским раем в прошлом, с мечтой о золотом веке (1919 г.):

Где не едят преломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко.
Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко.

Отмечу: русский язык Мандельштам считал эллинистическим («О природе слова», 1921 г.). Хотел ли он сказать, что многие славянизмы в нашем языке заимствованы у греков? Это неясно и я уже говорил, что стихи Мандельштама яснее и уж, конечно, значительнее его статей. Радости Эллады, в особенности первобытные, древние (в лесах Тайгета) он в своей поэзии совмещал с радостями христианскими, и вовлекал в христианство священные мечты греческого язычества. Протестантизм с отвращением откинул все языческое и усилил все ветхозаветное, а католики и православные, не отказываясь, конечно, от Ветхого Завета и, в особенности, вдохновляясь псалмами, как-то *окрестили язычество*. Византийские ангелы похожи на классических гениев, а изображения Богородицы иногда напоминают скорбящих жен на античных памятниках. То же делал и Мандельштам: христианизировал язычество.

Осип Эмильевич не крестился водой, но был крещен в Духе, и никто из русских поэтов такого пасхально-евхаристического стихотворения не написал. Он был «евхаристичен» и в жизни, и в поэзии, и не только когда воспевал соборы или леса Тайгета. Это также подтверждается любящими и умными комментариями Надежды Яковлевны в ее «Воспоминаниях». Она не раз говорит о способности Мандельштама жить настоящим и многому радоваться, даже в той мучительной растянутой агонии, в которой он жил в 30-х г.г.: «Этот бесконечно жизнелюбивый человек черпал силы из всего, что других, в частности меня, могло бы только привести в отчаяние...»

Мандельштам не знал скрытых и иногда бессознательных манихейских заблуждений символистов или Бердяева. Влад. Соловьев, Блок, Белый романтически откладывали торжество духа в будущее — в Царство Вечной Женственности или в какую-то хоровую культуру (Вячеслав Иванов). Бердяев утверждал: полная свобода и реализация духа невозможны в истории, в искусстве, в быту, и он сам в себе находил патологическую брезгливость к жизни, к миру, ко всему, что не дух («Самопознание», 351). Мандельштам не грешил ни романтическим «футуризмом», ни брезгливой спиритуальностью. Его скорее можно назвать «классиком», как и Пушкина. Он жадно жил настоящим и прозревал в нем вечное. Это хорошо поняла Н. Я.: для Мандельштама, как и для всякого настоящего художника «каждая секунда объемна, изобильна, насы-

щена сама по себе, равносильна любой вечности». Я же писал: «из любой земной точки он подымался к земному небу свободы и братства» в вечности («Мосты», 13-14). И я счастлив, что мои догадки подтверждаются комментариями Н. Я. Вечное может раскрыться по горизонтали истории, в апокалиптическом конце истории, но нам доступно лишь раскрытие его по вертикали, и именно тут-теперь, как в евхаристии, как в евангелии, где самое слово *ныне* (нун, нунк) так часто встречается. Это хорошо знал Мандельштам, и человек, и поэт: поднявшись «по лесенке приставной» на сеновал он ловил там «эолийский чудесный строй...»

Все ценное в жизни Мандельштам называл веселием, вспоминает Н. Я. А в очерке о Пушкине и Скрябине он писал: «Вся наша двухтысячелетняя культура, благодаря милости христианства — есть отпущение на свободу игры, для духовного веселия, для свободного подражания Христу».

«Чувство беды», пишет Н. Я. «не могло пересилить (его) вечной и дикой радости, совершенного необъяснимого веселия, запертого в клетку стихотворения». Да:

И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

II. КРЕСТНАЯ МУКА

Образ беды, русской беды впервые промелькнул в поэзии Мандельштама незадолго до революции, в стихах о гибели царевича (вероятно, Названного Дмитрия). Во второй строфе Мандельштам как будто отождествляет себя с царевичем: По улицам меня везут без шапки... Но далее он говорит о нем в третьем лице. Здесь едва ли есть предчувствие собственной казни. Это скорее случайный мотив Смутного времени. Образ беды яснее, грознее в стихотворении об Исаакиевском соборе (1921 г.). Там Мандельштам обращается к соборам Софии и Петра:

Не к вам влечется дух в години тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему веки не изменим:
Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры

В прохладных житницах, в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.

Это может означать: нужно быть с несчастными и с ними вместе преодолевать страх верой. Позднее он увидел в СССР униженную запуганную Россию и с ней разделил свою судьбу, но как мы знаем, в 20-х г.г. его еще мог соблазнять размах октябрьской революции. Все же, ощущение беды непрерывно усиливалось. Некоторые примеры: здесь пишет страх... сказал Мандельштам в «Грифельной оде» (1923 г.). В стихотворении «1 января 1924» появляется век-властелин: он, умирая, припадает к руке стареющего сына. Это, повидимому, прошлая культура («гуманизм»), который большевики уже начали выкорчевывать.

О времени в поэзии Мандельштама и других поэтов его эпохи несколько статей написал проф. В. И. Террас (одна из них была помещена в «Новом Журнале», 92, 1968). Он утверждает, что у Мандельштама было феноменальное чувство эпохи, истории. Об этом говорит в своих воспоминаниях и Н. Я. Добавлю: вместе с тем, он над временем возвышался и, поэтому, мог сказать: Нет, никогда ничей я не был современник... Следуя за французским философом Гастоном Башеляром, В. И. Террас говорит о времени-созидателе (духовных и эстетических ценностей): это творящее время, которое вдохновляло Мандельштама в «Камне» и в «Tristia», а в советской России он все чаще сталкивался с временем-разрушителем, истреблявшем не только старую эстетику, культуру, все эллинское и христианское, но и человека, любых «людишек», включая и самих коммунистов. Свою же песню он спел и о хорошем и о плохом времени...

После 1925 г. Мандельштам долго не писал стихов. Осенью 1930 г. его вдохновила Армения, ее «басенное христианство», и он возвращается к поэзии. В декабре этого года он пишет страдальчески жалостные стихи о Ленинграде, о погибших друзьях:

Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Был умирающий век-властелин, целующий стареющего сына, а теперь на него кидается век-володав, и давит он не волков, а овец, которых этому псу надлежало бы охранять. Другие — будто бы шуточные, но тоже очень жалостные, слезные стихи посвящены еврейскому музыканту Александру Герцевичу-Сердцевичу-Скерцовичу (1931 г.). Тогда же в его лирику врывается каторжный фольклор (о бушлатнике). Мучат жуткие кошмары:

Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
Дай-ка я на тебя погляжу —
Ведь лежать мне в сосновом гробу!

11 апреля 1931 г. Мандельштам пишет стихи «об астрах». Это здравица в честь дореволюционного прошлого и, в особенности, прославление Запада. Восхищается он не только тем, что прекрасно на Западе: музыкой сосен савойских (Ламартина) или маслом парижских картин. Он «пьет» и за вещи, казалось бы непривлекательные, будь то индустриальный бензин или колониальный хинин. Все ему на Западе мило. Образы Парижа, Рима и синего средиземного моря мелькают и в его изгнаннических воронежских стихах.

Мандельштамы могли из России уехать: мы знаем со слов Н. Я., что в 1921 г. поэт-символист Юргис Балтрушайтис, литовский посланник в Москве, предлагал Осипу Эмильевичу оптировать литовское гражданство. Позднее Н. И. Бухарин готов был выхлопотать ему выездную визу, но в 30-х г.г. это было уже невозможно. А до этого он еще как-то мирился с советской действительностью. Может-быть, покинуть Россию ему не позволяла русская речь, русская поэзия. Повелительно-му диктанту русской музы и судьбы подчинились и Ахматова, Пастернак. Те же богини пения и рока приманили Марину Цветаеву, которой они все же позволили прожить 17 лет за границей, где она написала лучшие свои стихи. Провиденциальность не исключает свободы воли. А воля бывает поверхностная, обусловленная житейскими соображениями и — глубокая, скрытая, движимая совестью художника, а также его человеческой совестью, и еще каким-то таинственными ангелами или демонами души. Но многое, конечно, зависит и от

счастливых или несчастных случайностей. Недели три после стихов «об астрах» Мандельштам написал это стихотворение:

А. А. А [хматовой]

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
 За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
 Так вода в новгородских колодцах должна быть черна и
сладима
 Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.

И за это, отец мой, друг и помощник мой грубый,
 Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье —
 Обещаю построить такие дремучие срубы,
 Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти древние плахи!
 Как нацелясь на смерть городки зашибают в саду,
 Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
 И для казни петровской в лесу топорище найду.

3 мая 1931. Хмельницкая.

Звучание: как и в стихотворении о Евхаристии, а также во многих других его стихах, здесь часто повторяются Р, З, Л, С, и еще шипящие — очень слышные в зловещих словах (несчастья, отщепенец или топорище). Вообще — фоника звучная. Рифма «труда» отзывается в слове «вода». Другая рифма «сладима» резонирует в словах — смолу, семье. Немало звуковых повторов, напр., во второй строфе: друг, дремучий, брат, татарва «поддерживают» рифму грубый-срубы. Звучны были радостные стихи в «Камне» и в «Tristia». Звучны и скорбные стихи 30-х г.г. И во всех этих стихах, светлых или темных, слышится то «блаженное, бессмысленное слово», которое было для него словом поэтическим (а формулу его я попытаюсь раскрыть в конце этой статьи).

Размер: в первой строфе необычные в русской поэзии шестистопные анапесты (с пропуском одного слога в первой строке). Другие две строфы написаны пятистопным анапестом, тоже редким (у Фета: Если жить суждено и на свет не родиться нельзя). Прежде — длинные анапесты Мандельштама вызревали на юге, в Тавриде (Золотистого меду струя из бутылки текла...). В 30-х г.г. у него все чаще встречаются

трехстопные размеры (так, в «астрах» шестистопные амфибрахии). Это стихи замедленного дыхания, как и длинные ямбы 20-х г.г. (шестистопные в Евхаристии). Но было у него и короткое взволнованное дыхание, напр., во многих последних стихах: Научи меня, ласточка хилая... (трехстопные анапесты).

Язык и истолкование (никому не навязываемое). Есть предметность в этом стихотворении, есть «недобрая тяжесть», из которой он тоже «создает прекрасное», но уже не радостное, а скорбное. Много зловещего, как во всем волчьем цикле (что хорошо подметила и Н. Я.): дым, смола, деготь, (в этом контексте), еще плахи, железная рубаша, топорище. Можно было бы по материалам этого стихотворения написать историческое полотно из эпохи татарского ига. Или — петровскую казнь, которая ему мерещилась в Соликамске (вспоминает Н. Я.). На заднем плане был бы двор, где играют мальчишки: они зашибают на смерть городки. Это тоже казнь, но в игре. На переднем плане — нищий (может-быть юродивый) в железной рубаше (веригах). Такие «сцены» писал Суриков, но очень уж мелодраматически, не на уровне поэзии Мандельштама.

Героиня стихотворения: «моя речь» — поэзия. Императив «сохрани мою речь» обращен к Ахматовой, но явно и к другим поэтам, а также читателям, знающим и любящим поэзию.

Герой — поэт, создатель речи. Он непризнанный брат, отщепенец в народной семье (на своей родине). Еще один герой: отец, друг, грубый помощник. Отцом мог бы быть уже знакомый нам старый век эллинизма, христианства, гуманизма. Но, может-быть, здесь проступают и черты нового века, не строителя, а разрушителя, грубого помощника («помогающего» погибнуть).

Первая строфа. В речи (поэзии) тот привкус несчастья, который был уже в стихах об Исаакии. Еще есть в ней липкая «смола кругового терпенья» (порабощенного большевиками народа). Еще — совестный деготь труда (может-быть, работа поэта не за страх, а за совесть и, вообще, честный труд). Отмечу: по словам Н. Я. эпитет «совестный» долго не давался Мандельштаму. Почему черная вода новгородских колодцев должна быть сладима (и какой это малоупотребительный глагол «сладить», да еще в причастии страдательного глагола). Чтобы в ней отразилась рождественская звезда (благая весть

новозаветной веры). А сладость не придает ли этой воде поэзия? Здесь поэтическая логика: *за* (то-то) *чтобы*... При этом «за» ассоциируется со стихотворением, незадолго до этого написанным: Я пью за военные астры... Но, если стихи «об астрах» за здоровье, то эти — за упокой.

Вторая строфа. Я уже говорил о героях этого стихотворения — об отце-веке и брате-поэте. Почему поэт «за это» (за несчастья, за Рождество) обещает построить колодезные срубы? Опять та же поэтическая логика: чтобы татарва (большевики?) опускали в эти срубы князей (поэтов?), т.е., чтобы они их мучили, губили. Туповатые фрейдисты обнаружат здесь мазохизм. А на самом деле — это сознательное принятие крестной муки. Н. Я. писала: в те годы Мандельштам «властно вел свою жизнь к гибели», хотя по ее же словам, он не имел «никакого влечения к мученичеству».

Он, «божественный мальчик» (как называла его Марина Цветаева), смешливый, беззаботный, хотел радостного богообщения, хотел весело играть в Божьем мире и тем самым прославлять Творца. Но уже «подрос» к этому времени другой Мандельштам, которого иногда принимали за старика, а было ему едва ли сорок лет (узнаем от Н. Я.) Он пошел по волчьему следу несчастья и через два года, возмущенный террором, коллективизацией, написал те обличительные стихи о Сталине-мужикоборце (Его толстые пальцы, как черви, жирны). Эти стихи были его смертным приговором, и он знал об этом, и все-таки читал их, и даже дал кому-то переписать. Так, совесть художника отождествилась с человеческой совестью, и повелела ему обличить тирана-палача: это было его «не могу молчать». Здесь голос Бога слился с голосом человека. Все же отмечу: эти стихи по звуку не мандельштамовские: сатира не была ему по душе. Эпиграмма на Сталина свидетельствует о гражданском мужестве Мандельштама, но не о его лирическом даровании. Однако, в данном случае политика была существеннее поэзии — политика, подсказанная совестью. Но детское в нем, уже старике, не было убито и в воронежской ссылке, в годы растянувшегося «приглашения на казнь» Сталиным. В 1936-37 г. он писал: Детский рот жует мякину, / Улыбается, жуя... Или: Вот оно мое небо ночное, / Пред которым, как мальчик стою... Также: Я наслаждаюсь величием равнин... Неограничена еще моя пора... хотя каждую ночь

ждал нового ареста и дважды покушался на самоубийство. Заливало горе, но радость еще не иссякла.

Были и соблазны: страх продиктовал славословие вождю. Летом 1935 г. он писал: Я должен жить, дыша и большевея... Но этими козырями он не пытался обгрызывать... и они уже не могли ему помочь. Мандельштам боялся, отчаивался, но из всех русских писателей, кажется, только он один в 30-х г.г. так обличил-осудил жестокого диктатора, и уже в этом стихотворении (Сохрани мою речь...) готовился к неминуемой казни.

Третья строфа. Почему он хочет, чтобы его любили древние плахи, может-быть только бревна, но явно предназначенные для той казни, для которой он ищет топориче в лесу? Не значит ли это, что орудие пытки (бадю), древесный материал для казни (плахи) и смерть, как настоящую, так и ненастоящую (в игре в городки), он вводит в свою речь — в поэзию, воспеваает. А себя самого видит в железной рубахе, не в веригах ли юродивого?

Г. П. Федотов (в книге «Святые древней Руси») утверждал, что юродивые были чуть ли не единственными критиками строя Московской Руси. В новой Московии, в СССР, не занял ли их место Мандельштам, писавший иногда странно, темно, по-юродски (как могло казаться литературным чекистам), но все же достаточно ясно, чтобы можно было понять, что он осуждает, от чего отталкивается.

Все стихотворение в целом может-быть не до конца разгадывается, но оно ощутимо всеми пятью чувствами, и не только зрением и слухом: осязательна липкая смола, а дым имеет привкус и, конечно, запах. Какие вещи и зловещие стихи, но и упоительные, блаженные на вольной воле поэта, принимающего в свою поэзию и в свою жизнь крестную муку. Уныния нет: есть *празднование великой беды* — собственной и общерусской. Это скорбный гимн с ликующими интонациями, и в нем нет покаяния, а есть вольное приготовление к Голгофе.

Не веря воскресенья чуду... писал Мандельштам в стихах, посвященных Марине Цветаевой (1916 г.). Может-быть, он и не верил, но чудесным образом воскрешал любое *сейчас*, останавливал мгновение в стихах или же в тех немногих, все менее доступных ему радостях жизни.

Христиане молятся Богу и часто о чем-то Его просят. В поэзии Мандельштама просительных молитв нет, как и покаянных. Его поэзия — славословие Творцу. Это радостное пасхальное богообщение в Евхаристии: Все причащаются, играют и поют... Это и скорбное великопостное служение: Столетних панихид блуждающий призрак, / Широкий вынос плащаницы... (здесь я отдаю предпочтение первому варианту этих строк). Все есть в его стихах: и золотое солнце дароносицы, и привкус несчастья и дыма, и еще обличение века-волкодава. И о чем бы он ни говорил, всегда звучало в его поэзии «блаженное, бессмысленное слово». Почему бессмысленное? Ведь Мандельштам, писала Н. Я., называл себя *смысловиком* и его не соблазняло «самовитое слово» Хлебникова. Бессмысленно его слово тем, что оно многосмысленно и радует нас не только смыслом или смыслами, а и волшебными звуками, о которых писал еще Пушкин. В «Евгении Онегине» поэзия определяется, как ...союз / Волшебных звуков, чувств и дум. Все вечное, небесное, райское, но печальное тоже, — полнее всего раскрылось в блаженном, бессмысленном слове Мандельштама и в волшебных звуках, чувствах, думках Пушкина. Есть волшебство в стихах и многих других русских поэтов, но самые — на мой взгляд — благодатные из них — Пушкин и Мандельштам.

Мандельштам родился для игр, а погиб оттого, что не мог не сказать правду. В годы беззаботной юности «серебряного века» он писал:

Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?

Какая там смерть, думалось ему, когда столько счастья в мире и в искусстве. Эти его стихи, пишет Н. Я., смертник нацарапал на стене камеры. Осип Мандельштам был *настоящий* и жил *настоящим* и пришла к нему *настоящая* смерть, но разве окончательная? Он испытывал вневременное блаженство в радостях жизни и в «шуме стихотворства».

А любящее сердце, шепнет: лучше бы он не писал стихов, не вовлекался бы в русскую поэзию, не разделял бы русскую судьбу с другими жертвами лихолетья, и благополучно празд-

новал бы в этом году восьмидесятилетие: он родился 3/15 января 1891 г.

Но он вовлекся, разделил и погиб. Остались стихи:

Весть летит светопыльной дорогою —
Я не Лейпциг (и) не Ватерлоо,
Я не Битва Народов. Я — новое, —
От меня будет свету светло.

(Воронеж, начало 1937 г.)

Юрий Иваск